

Лоуренс Стоун

БУДУЩЕЕ ИСТОРИИ*

Laurence Stone. The Future of History
© THESIS, 1994
Перевод к.ф.н. Е.В.Ананьевой

В 1974 г., двадцать лет назад, Пьер Нора, сотрудник Высшей школы социальных исследований в Париже, дал следующую оценку современного состояния исторических исследований:

"Мы живем в эпоху взрыва интереса к Истории. Постановка новых проблем, оплодотворенных привлечением идей из смежных дисциплин, а также распространение во всем мире исторического сознания, длительное время ограниченного пределами Европы, невероятно обогатили перечень вопросов, которые историки адресуют прошлому. Посвященная до недавнего времени рассказу о событиях, которые впечатляли современников, биографиям великих людей, политическим судьбам народов, история как дисциплина изменила свои методы, структуры и цели...

Анализ экономики и общества сегодня расширился за счет исследований материальной культуры, цивилизаций и менталитета. Политическая история вплотную подошла к изучению механизмов власти. Использование количественных методов предлагает более надежную основу для развития демографических, экономических и культурологических исследований. Текст как таковой уже не правит бал: неписанные свидетельства – археологические находки, образные представления, устные традиции – расширяют пределы истории. Человек как целое – его тело, его пища, его язык, его представления, его технические орудия и способы мышления, изменяющиеся более или менее быстро, – весь этот прежде невостребованный материал стал хлебом историка. В то же время ускорение исторического процесса привлекло внимание к противоположному явлению, обусловив более глубокое изучение постоянного и неизменного в истории общества" (Le Goff et Nora, 1974).

Все это было верно для того времени, когда писались процитированные строки. Прорыв в социальных, а затем и культурологических исследованиях после второй мировой войны, безусловно, был потрясающим достижением истории как дисциплины. Этот взрыв породил величайшие исторические труды, многие из которых родились в недрах известной школы Анналов в Париже, ставшей мощным двигателем нововведений в исторической науке. Я рад, что родился в нужное время и смог принять участие в работе этой школы.

Однако с недавних пор исследования по социальной и культурной истории, которые на протяжении пятидесяти лет господствовали в этой дисциплине в интеллектуальном, если не в количественном отно-

* Статья написана для альманаха THESIS.

шении, совершенно неожиданно стали переживать трудные времена. Их уверенные претензии на приоритет в исторической науке ныне серьезно оспариваются, а политическая история и повествовательный стиль снова вошли в моду. Сегодня я прежде всего хотел бы обсудить прошлое – что же пошло не так в социальной истории. Затем я обращусь к настоящему – что же не так в современных направлениях. В заключение я предложу обоснования веры в светлое будущее исторических исследований в грядущие десятилетия.

I. ПРОШЛОЕ: СОЦИАЛЬНЫЕ ИСТОРИКИ

К началу 1980-х годов стали очевидными встроенные дефекты социальных и культурологических исследований истории, вышедших из-под пера ученых моего поколения. В последние несколько лет это направление исторических исследований обнаружило явные черты кризиса: существуют признаки как воспарения в эмпирии (построение гибридных моделей), так и погружения в тривиальность, скуку и несообразность. Структуралистская история, возможно, достигла кульминации в сверхноваторских книгах Фуко по безумию, сексуальности и тюрьмам.

Фуко справедливо критиковал Деррида за то, что последний обходил вопрос о власти, но сам он отвел господству и подчинению безусловно центральное место в своем анализе совокупности социальных и индивидуальных отношений, т.е. стал рабом догмы, которую я считаю психологически неприемлемой. На какое-то время Фуко удалось изменить наше видение мира и тем самым временно уничтожить моральные устои Просвещения XVIII в. По-моему, это не совсем то, чем следует гордиться.

Квантификация как научный метод исторических исследований достигла стадии сверхновшества в книге американских профессоров Фогеля и Энгермана (Fogel and Engerman, 1974), где они попытались решить большинство проблем истории рабства в Америке с помощью клиометрики, т.е. приложения статистических выкладок к историческому материалу. Применяемые осмотрительно, количественные методы представляют собой прекрасный научный инструмент для выявления приближенности и неточности суждений, особенно когда речь идет об экономике и демографии. В самом деле, использование в демографии методов клиометрики пользовалось триумфальным успехом, когда речь шла об установлении фактов, хотя успех этих методов в выдвигании правдоподобных объяснений был гораздо более скромным (Smith, 1987, p.26–27). Первой ошибкой было убеждение в том, что клиометрика научна сама по себе. В действительности она научна в той мере, в какой надежны данные, на которые она опирается, а на них обычно не очень можно положиться. Второй ошибкой было убеждение в том, что она способна разрешить большинство по-настоящему важных проблем истории, хотя в действительности области ее всемогущества (такие, как экономическая и демографическая история), довольно ограничены. Третьей ошибкой было предположение, что книги, полные цифр и уравнений, но напроць лишённые человека, позволят хотя бы приступить к постижению сложности и многозначности исторического процесса, уж не говоря о том, чтобы вызвать интерес у читателей.

Специалисты по количественной истории забыли – если вообще когда-либо знали – правила применения статистики, предложенные выдающимся английским специалистом в области государственной экономической политики Т.Г.Маршаллом в 1906 г. в письме к А.Боули:

1) Используйте математику как стенографию, а не как двигатель исследования;

2) переведите ее на английский язык;

3) подтвердите ее примерами из жизни;

4) выбросьте математику".

Однако если самые выдающиеся из социальных историков порой достигали звезд – и иногда подобно Икару падали с небес, – то многие второсортные специалисты тонули в антикварной тривиальности избранных для исследования тем или слепо следовали последней моде.

Причины подобного упадка социальной истории, по всей видимости, лежат в ошибках, совершенных моим поколением, и я принимаю свою долю ответственности за них:

1) Некоторые историки сосредоточили внимание исключительно на обедневших маргинальных группах, а не на основных социальных слоях и романтизировали первые, потому что те были бедны и маргинальны.

2) Многие пали жертвой тирании фактов, выловленных ситом количественных методов. Однако, как заметил К.Кэлхаун, "упрек в бездумном эмпиризме не следует предъявлять статистике; над чем нам стоит задуматься, так это именно над неудачей применения этих и иных подобных методик исследования при попытке ответить на важные вопросы".

3) Мы все впали в тяжкий грех, по существу игнорируя образование государства и пренебрегая изучением государственной власти в любом из ее аспектов (политическом или военном), да и политики как процесса. Приведу в качестве примера свою большую книгу "Кризис аристократии" (в конце XVI в. в Англии), в которой я совершенно не упомянул об изменяющейся политической роли палаты лордов. Дж.М.Тревелиян в 1944 г. предложил определение социальной истории как "истории народа, из которой выброшена политика" (Trevelyan, 1944), и оно оказалось пророческим.

4) Отмеченное пренебрежение государственной политикой сопровождалось столь же презрительным отношением к религии, перенятым по довольно разным причинам всеми основными течениями новой социальной истории. Это произошло, несмотря на огромное историческое значение религии, продемонстрированное еще Максом Вебером. Например, в гигантской основополагающей книге Броделя о Средиземноморье времен Филиппа II (Braudel, 1949) практически ни слова не говорится о религии, несмотря на то, что великие религиозные институты католического христианства и ислама именно тогда достигли критической точки борьбы за контроль над средиземноморским бассейном. То же пренебрежение идеологией, религией и культурой заметно и в трехтомном исследовании Броделя материальной цивилизации Запада (Бродель, 1986–1992 [1979]). Однако религия, бесспорно, играла решающую роль в жизни мужчин и женщин в период между Реформацией в XVI в. и подъемом секуляризма в XIX в. Явное пренеб-

режение этой темой со стороны большинства социальных историков было одним из наших самых очевидных и серьезных грехов умолчания.

5) В основе многих направлений современной социальной истории лежала и весьма сомнительная посылка, что при изучении будь то массового поведения, народной культуры или национальной политики человеческие индивиды или группы можно правдоподобно описать как совершенно рациональные. Однако история дает основания предположить, что люди не менее и возможно даже более склонны сражаться и умирать за идею, принцип, религию, расовый или племенной предрасудок, чем за материальный экономический интерес. Они будут бороться за интерес и даже убивать ради него, но обычно они не станут ради него умирать, если могут избежать этого. Когда же принцип и интерес переплетаются, то не существует пределов, до которых люди не были бы готовы пойти, как показали недавние события в Боснии.

Жорж Рюде и Чарльз Тилли, например, навязали всем нам представление поразительной рациональности и избирательности бунта толпы в доиндустриальную эпоху, в явно противоречащие предшествующей иррациональной модели Лебона (Лебон, 1896). Их модель, признаем, имеет некоторые реальные фактологические основания, но едва ли соответствует сегодняшней практике – например, религиозным волнениям в Индии и Иране или расовым волнениям 60-х годов в Америке, а также хулиганству футбольных болельщиков 70–80-х годов в Англии. Находясь под властью этой рационалистической модели, мы, изучающие историю начала нового времени, не спим по ночам, размышляя о том, как же могло так случиться, что в 1668 г. толпа лондонских моряков и подмастерьев разгромила публичные дома. Ведь, в конце концов, как в изумлении заметил тогда Карл II, "они же ими пользуются, не правда ли?". Нет серьезных сомнений и в том, что люди в своих действиях и поведении руководствуются не реалистичным анализом социальной обстановки, в которой находятся, а своими субъективными представлениями об этой реальности.

6) Еще одной нашей, социальных историков, ошибкой была недооценка роли случайности и личности в истории и значения случая в его чистом виде. Мы закрывали глаза на эти факторы, обливая презрением хронологическое повествование и политическую историю. Это позволяло нам принижать влияние индивида и произвольного принятия решений на ход великих событий, подобных Французской революции. Саймон Шама в своей книге "Граждане" (Schama, 1989) блестяще продемонстрировал их критическое влияние – и в этом бесспорное достоинство этой хроники Французской революции. Однако, к сожалению, он выплеснул ребенка вместе с водой, поскольку оставил без внимания более значимые безличные силы, такие, как жажда перемен среди буржуазии, либерально настроенных аристократов и крестьян или структурная слабость (военная, финансовая, бюрократическая и моральная) *ancien régime* (старого режима (фр.). – *Прим. пер.*); а также огромное воздействие таких эмоционально окрашенных слов, как свобода, равенство, братство.

Давным-давно сэр Герберт Баттерфилд так оценил значение свободы воли индивида в истории: "Узкая область выбора, предоставленного

индивидам, подобна маленькому сегменту, вырезанному из огромного круга необходимости. Но если подобный сегмент вообще возникает, то этого достаточно, чтобы изменился ход всей истории". Вместе с тем он утверждал, что "никто не сможет оспорить принадлежность значительной части человеческой жизни к сфере закона и необходимости" (Butterfield, 1979, р.ХХХ–ХХХIV). Он написал эти строки в 1955 г., не предвидя появления эмпириков-номиналистов.

Итак, Шама был прав, восстановив значимость роли индивида в великой драме истории, но он ошибался, не признавая, что по крайней мере в какой-то степени каждый индивид конституируется в социальном и культурном отношении, являясь тем самым продуктом своей среды. Маркс соединил звенья цепи по существу верно: "Люди сами делают свою историю, но они ее делают не так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а которые непосредственно имеются налицо, даны им и перешли от прошлого" (Маркс, 1957, с.119).

Вместе с тем именно в силу встроенной случайности человеческого поведения не существует научных законов истории, как не существует и способности историков успешно предсказывать будущее, кроме как в самом широком смысле. Даже антрополог-структуралист Леви-Стросс совсем недавно отметил данное обстоятельство: "По-моему, как ближайшее, так и отдаленное будущее зависит от случайности, а я не способен обсуждать ее".

7) Следующая проблема носит этический характер. Некоторые антропологи-культурологи уже давно настаивали, что в целях отпора этноцентризму мы должны принять положение о том, что любая культурная практика или политическая организация, независимо от ее жестокости или гнусности (будь то клитеродектомия в Восточной Африке или самогеноцид в Камбодже), одинаково достойны уважения. Проблема этики в истории появилась в связи с непониманием блестящей, хотя и путаной, полемической книги сэра Г.Баттерфилда "Вигская интерпретация истории" (Butterfield, 1965). Ее последняя глава содержала жестокие нападки на лорда Эктона, которого, как выяснилось позже, Баттерфилд безмерно уважал. Эктон утверждал, что задача историка состоит не только в том, чтобы объяснить и понять прошлое, но и высказать свое суждение о нем. Именно против наделения историка такой священной властью возражал Баттерфилд, будучи последовательным методистом. Позже оказалось, что Баттерфилд сам был привержен традиции вигов, соглашался с оценкой самого себя как "нового вига", считал индивидов безусловно ответственными за их действия в истории и написал две книги по истории: "Англичанин и его история" (Butterfield, 1944) и "Происхождение современной науки" (Butterfield, 1949), в которых позиция вигов была выражена настолько четко, что вряд ли с ними могут сравниться в этом отношении какие-либо другие публикации (Butterfield, 1979, р.ХХХ–ХХХIV).

8) Последняя проблема социальной и культурной истории заключается в ее нецелостности. Частично это можно отнести на счет того, что, оставив в стороне государственную политику и государственные структуры, исторические исследования лишились центра притяжения; частично это можно отнести на счет того, что разные темы необычайно

разрослись и разветвились и стало невозможно увязывать их друг с другом. В результате социальная и культурная история предлагают сегодня невероятно богатый спектр весьма разнообразных аспектов жизни человека, из которых историк выбирает свою тему скорее наугад, случайно, не следуя какому-либо логическому принципу. Например, французы недавно создали масштабные труды по истории сексуальности, обоняния и чистоплотности. Однако как связать историю обоняния или чистоплотности с историей политики (Vigarello, 1988)? Никто этого толком не знает.

Все мы знаем, что в социальной истории недавно произошла переориентация. В последние 10–15 лет наблюдался резкий спад интереса к исследованиям материальных факторов и социально-экономических структур, т.е. исследований по большей части на использовании статистики. Внимание ученых все больше привлекает новая культурная история, т.е. история *менталитета*, и изучение с помощью методов антропологии высокой и низкой культуры, особенно выраженной в частных ритуалах и публичных проявлениях как символах смысла. Клиффорд Герц, Мэри Дуглас, Виктор Тернер и Эванс Притчард стали новыми властителями дум. Это направление культурологических изысканий может давать сенсационные результаты, особенно когда речь идет о таких образованных и тонких исследователях, как Эммануэль Ле Руа Ладюри, Франсуа Фюре и Мона Озуф в Париже, или Карло Гинзбург в Болонье, или Кит Томас в Оксфорде, или Натали Дэвис и Роберт Дарнтон в Принстоне, или Грег Денинг, Инга Клендинген и Рис Исаак в Мельбурне. Например, нет ничего проще, чем признать важную, пусть и не определяющую роль, которую некоторые авторы хотят придать публичным ритуалам и публичной риторике в период Французской революции. Однако у меня есть две оговорки. Первая заключается в том, что исследование символического смысла легко может зайти слишком далеко. Всегда существует вероятность, что ученый приписывает действующим мысли и идеи, которых у них в действительности не было, о которых они и понятия не имели. Например, у меня есть сомнения относительно того, что именно означало Великое убийство кошек (толкование которого предложил мой друг Роберт Дарнтон) для совершивших его парижских подмастерьев XVIII в. (см. Darnton, 1984; критику см. в Chartier, 1985).

Вторая оговорка состоит в том, что в настоящее время больше усилий посвящается изучению символики, представлений и риторики прошлого, чем его объективной реальности. В конце концов, власть и политика являют собой нечто большее, чем просто ритуалы, символы и слова, несмотря на всю их несомненную важность в установлении гегемонии, а также в поддержании консенсуса и подчинения. Как сказал Мао Цзэдун в присутствии ему жестком стиле, "власть глядит из дула пистолета". Эту полуправду мы, историки, никогда не должны забывать, особенно те из нас, кто родом с Запада, завоевавшего мир благодаря превосходящей военной технологии. Государства занимаются не только хорошо отработанными театрализованными действиями, вроде ритуального сожжения жен: они также ведут войны, собирают налоги, казнят преступников и издают законы.

Только не подумайте, что все вышесказанное представляет собой поминальную речь по социальной и, особенно, культурной истории. На протяжении 50 лет сначала социальная, затем культурная история были самыми изобретательными и занимательными играми для историков. Они поставили историю с ног на голову. А затем, в 80-е годы, сами стали превращаться в жертву собственных успехов, хотя до сих пор в социальной и культурной истории создаются работы высокого профессионального уровня. Что требуется, так это отказ от крайних позиций и стремление к восстановлению духа общего дела при признании всеми права на свободу научных взглядов. Об этом мы поговорим в конце статьи.

II. НАСТОЯЩЕЕ

Обсудив слабости различных направлений традиционной социальной истории и относительно новой истории культуры, мы можем теперь приступить к разбору столь же серьезных недостатков стиля мышления "сердитых молодых женщин и мужчин". Именно они самым нелюбезным образом критикуют нас, как своих предшественников. Разношерстное собрание "ниспровергателей", которые сегодня критикуют поколение социальных историков 50–60-х годов за их предположения, методологию и выводы, можно разделить на две очень разные группы.

Первую группу можно назвать эмпириками-номиналистами. Вызов, брошенный ими социальным историкам, отчетливо звучит в нынешней дискуссии по Английской революции XVII в., хотя их идеи распространяются практически на все области западноевропейской истории, включая Американскую и Французскую революции.

Отнюдь не представляя монолитной общности, они, конечно же, разделяют основные базовые установки. Представители этой группы придерживаются модели изменений, которая исключает качественные скачки, отрицает долгосрочные причинные изменения, подчеркивает принятие решений наверху и проявляет сильную склонность к "histoire immobile" – концепции о том, что с течением веков ничего особенно не меняется.

Как заявил один из них: "Грандиозные события не имеют под собой грандиозных причин, хотя для историка естественно искать их". Однако еще в XVIII в. лорд Болингброк заметил, что "голые факты в отрыве от причин, их порождающих... недостаточны для описания действий или решений" (Bolingbroke, 1972, p.9). Другой представитель этого течения, Конрад Рассел, приравнял гражданские войны и революции к "дорожным происшествиям", очевидно, имея в виду, что они представляют собой события, ставшие просто результатом неких непредсказуемых ошибочных суждений одного или нескольких водителей. Французскую революцию, Английскую революцию и Американскую революцию многие сейчас рассматривают не более как в качестве простых происшествий, причем своего рода печальных происшествий.

Таким образом, мы сталкиваемся с обобщающим толкованием того, как "работает" история, – толкованием, которое практически совершенно игнорирует широкие подспудные течения исторической причинности, поскольку они не просматриваются явно в текстах, которые

читают эмпирики-номиналисты. Подобное толкование сужает спектр выбора точки зрения и способы понимания, а не открывает новые. Оно исключает долгосрочные последствия экономических и социальных изменений, идеологических верований, а также философских или правовых идей для повседневной реальности высокой политики и придворных клик; оно принижает влияние идей или принципов на человеческие действия; оно списывает со счетов влияние чувств и действий низов на определение элитами политического курса. Сужение исторического горизонта, частично вызванное идеологией, а частично методологией, сказывается сейчас как на анализе последствий, так и причин исторических событий. Например, английская промышленная революция сводится к статистическим данным о производстве хлопка, численности фабричных рабочих и т.д. Таким образом за скобки выносятся все то, что происходило в умах, в образе жизни, в морали и в поведении по мере того, как Англия исподволь, хотя очень медленно и без видимого толчка, превращалась в самую урбанизированную и индустриально развитую страну мира. Если вы неправильно поставите вопрос, то вы скорее всего получите неправильный ответ, а именно: промышленной революции не было вообще.

Еще одна ошибка эмпириков-номиналистов заключается в том, что они путают признание значимости долгосрочных причин изменений в истории с верой в историческую неизбежность. Так, я всегда был убежден в важности как долгосрочных, так и краткосрочных причин изменений в истории, но не могу помыслить себе ни одного крупного исторического события, которое я мог бы считать неизбежным. Например, я не обладаю сведениями о том, чтобы какой-либо профессиональный историк, будь то марксист или виг, когда-либо ясно и недвусмысленно объявил себя в печати приверженцем доктрины о неизбежности гражданской войны в Англии в 1642 г. "Широкая дорога к гражданской войне" (the great Aunt Sally of "the High Road to Civil War") – даже не каменистая тропинка, протоптанная только овцами: ее никогда не существовало.

Эмпирики-номиналисты жалуются, что историки зачастую больше интересуются процессами, имеющими долгосрочное значение, чем теми, которые, как оказывается, не имеют никакого значения вообще. Они в этом абсолютно правы. Но почему бы и нет? Как отметил сто лет назад Дройзен, не все то, что происходило в прошлом, достойно одинаково пристального изучения, и наш выбор должен быть продиктован потребностью углубить понимание того, как прошлое повлияло на настоящее (см. Gilbert, 1983, p.335). Именно по этой причине мы подробно исследуем историю раннего христианства, но только по касательной занимаемся культом Митры, несмотря на то что последний был в свое время более распространен, чем христианство.

Один эмпирик утверждает, что "в науке, как и в любом другом деле, копейка рубль бережет" (Morrill, 1980; см. также Elton, 1984). Однако именно этого и не происходит, когда речь идет об интеллектуальных занятиях. Напротив, в науке нужно начинать с постановки проблемы и гипотезы, которую следует проверить на истинность. Как недавно сказал д-р Теодор Зелдин, "воображение... столь же важно для историка, как и новые документы. Новые документы – достаточно легкий способ

получить иллюзию оригинальности" (Zeldin, 1982, p.341). Сознательный отказ от воображения прямо приводит как к узкой специализации и мелкотемью, так и к подсознательному следованию идеологии, не основанной на тексте.

2. Вторая группа историков, пока малочисленная, но очень шумная, проявляет желание подорвать сами основы нашей дисциплины. Эту новую волну я бы обозначил как фактографический релятивизм. Уже второй раз в этом веке мы стали свидетелями появления крайних форм исторического релятивизма. Первая нашла воплощение в поразительном обращении Карла Беккера "Каждый сам себе историк" при вступлении его на пост президента Ассоциации американских историков в 1931 г. Сегодня мы живем в эпоху постмодернизма, постструктурализма, деконструкции, нового историцизма и нового литературного критицизма. Сегодня выходят книги, в которых проявляется то, что было едко описано как "исследования, слепо забредшие в тенеты солипсистской деконструкции, запутавшиеся в жаргоне и критической догме, напрочь лишенные здравого смысла или способности к эстетическому восприятию" (New York Times, 1992). Представляется, что в наши дни многие литературные критики просто ненавидят литературу. Лексика исторических исследований кишит знаками показного коленопреклонения перед загадочными письменами полубогов¹. Ныне эти ученые цитируются в предисловиях ко многим книгам или статьям, как будто само упоминание их священных имен придаст ореол и смысл тому, что авторы подобных работ довольно помпезно предпочитают сейчас называть своим "дискурсом". Среди западных историков ссылки на авторитеты сегодня почти в такой же моде, как в свое время в России при Сталине. Например, автор статьи, опубликованной недавно в одном из британских исторических журналов, умудрился враз упомянуть следующие имена: Соссюр, Барт, Лиотар, Деррида, Альтюссер и Лакан из Франции; Ницше и Хайдеггер из Германии; Стэнли Фиш, Хейден Уайт и Ла Капра из Америки (Easthope, 1993).

Деконструктивисты утверждают, что слова свободно изменяют свой смысл, независимо от намерения того, кто их употребляет. Так, Деррида заявляет, что "не существует ничего вне текста", т.е. не существует никакой эмпирической реальности вне текста, не существует никакого прошлого опыта реальных людей, который мы, историки, способны путем тщательного изучения исторического контекста понять и описать. Точно так же, полагает он, не существует никакого логического соподчинения причины и следствия. В итоге он задается вопросом – явно в ожидании положительного ответа, – являются ли "истины вымыслом, чья вымышленность забыта" (см. Culler, 1984, p.181). Если бы его мнение было верным, то это положило бы конец всем дискуссиям по истории, поскольку никакими фактами нельзя было бы подтвердить аргументы. Таким образом наносится оскорбление свидетельству существования реального мира, сколь бы туманным оно ни было. "Один из основных просчетов модернизма, – писал Дональд Маккласки, – заключается в том, что он устанавливает донкихотские стандарты истинного смысла, кото-

¹ Социологический анализ феноменального успеха Деррида в США представлен у М.Ламона (Lamont, 1987).

рые при жестком их соблюдении ввергли бы нас в невольное помещательство". Тем временем, чтобы жизнь мемом не казалась, американский ученый Доменик Ла Капра недавно поделился соображением о том, что "не существует ничего и в самом тексте" (см. McCloskey, 1983, p.488).

К счастью, слухи о смерти истории оказались сильно преувеличенными, как недавно заверили нас Джойс Эпплби и Габриэль Шпигель – историки, а также Стэнли Фиш – представитель литературного критицизма. Профессор Эпплби утверждает, что текст является лишь пассивным материалом в руках автора. Ведь именно люди играют словами – слова не играют сами собой. Отсюда, чтобы установить их смысл, мы, историки, должны выявить намерение автора; должны изучить социальный и политический контекст времени, в котором была создана соответствующая форма языка; должны погрузиться в традиции определенной культуры. С помощью этих приемов исторического исследования мы сможем схватить суть, хотя бы в предварительном порядке, хотя бы в достаточно правдоподобном виде, чтобы с ней согласилось большинство хорошо информированных образованных читателей (Appleby, 1989). Даже гуру литературного критицизма, Стэнли Фиш, недавно признал, что он согласен с положением о том, что "аргументы в исторических спорах в конечном счете имеют не гносеологический, а эмпирический характер, включая дискуссии о содержании знания, [исторических] свидетельствах и их значимости" (Fish, 1989, p.313).

Пожалуй, мы можем сделать две уступки модифицированному релятивизму. Первая уступка состоит в том, что и пишущим историю и пишущим художественное произведение одинаково необходима работа воображения, поскольку и труд по истории, и художественный вымысел – конструкции человеческого сознания. Однако они коренным образом отличаются сферами, в которых воображение может быть применено на законном основании. Автор исторического романа с помощью воображения создает свой материал – характеры, действия, диалоги и фабулу. Для историка же любое отступление от фиксированного архивного материала – непростительный грех, грех по отношению к Священному Духу нашей профессии. Нам нет нужды отказываться от столетними усилиями завоеванных наконец в XIX в. стандартов и методов оценки исторических свидетельств. Благодаря им "историческое знание, возможно, носит предварительный характер, но оно не носит произвольного характера" (Rosenberg, 1981, p.684). Будучи писателем, а не ученым, Джон Ле Карре пришел, однако, к заключению о том, что "истина – это род видения, тонкая смесь того, что можно продемонстрировать и что нельзя опровергнуть" (New York Times Magazine, 1993).

Нынешние времена, конечно же, не единственный период краткого процветания крайней формы скептического релятивизма. В начале XVIII в. лорд Болинброк писал: "Поскольку люди склонны доводить свои суждения до крайности, то будут и такие, которые с готовностью станут настаивать на том, что история вымышлена и что она в лучшем случае просто сказка, искусно придуманная и убедительно рассказанная, в которой истина и ложь слиты воедино... Однако в данном случае

происходит то, что случается часто: предпосылки верны, а вывод ложен" (Bolingbroke, 1972, p.51).

Мы можем согласиться и с тем, что, независимо от своей позиции "жестких" естественников или "мягких" гуманитариев, мы подходим к любой проблеме, уже обладая предварительными представлениями о ней и своими предрассудками. Лучшая страховка от ошибки – твердая вера в либеральный принцип, гласящий, что мы можем ошибаться. В конце XVII в. Локк сказал, что он готов "отказаться от любого своего мнения, отречься от всего, что бы он ни написал, при первом признаке ошибочности" (цит. по: Locke, 1993, p.IX). Полвека назад У.К.Фергюсон отметил, что "если историк вообще берется за толкование прошлого, то у него должна быть своя позиция, однако он сможет приблизиться к объективности, только осознавая ее наличие и не считая ее абсолютно верной" (Ferguson, 1948, p.388). Точно так же палеонтолог С.Дж.Гулд заметил недавно, что "объективность заключается в готовности отказаться от взлелеянной теории, когда предполагаемое заключение не подтверждается... Если мы не раскинем нашу сеть теорий достаточно широко, то не увидим того, что лежит у нас перед глазами".

Безусловно, использовать историю как орудие проталкивания некоей конъюнктурной идеологической позиции, будь то крайний национализм или вульгарный марксизм, опасно. Исследования женщин внесло громадный вклад в науку в последние 15 лет, проследив влияние и деятельность женщин на протяжении веков и осветив тему, которую мужчины до сих пор полностью игнорировали. Однако, именно имея в виду феминистскую идеологию, антрополог Юдит Шапиро недавно предупредила против "слишком тесной связи науки и задач социального реформаторства", проиллюстрировав свои слова печальной историей марксистской историографии в последние полвека. В этой связи я предлагаю установить мораторий на употребление таких терминов, как "фаллоцентрический", "фаллократия" и т.д., что поможет очистить язык науки от некоторого флера модного жаргона, не говоря уж о том, что такой мораторий восстановит справедливость по отношению к тем из нас, кто имел несчастье родиться с этим отростком (см. Keuls, 1980). Более того, история женщин страдает от "перепроизводства". Профессор Линда Коллей – сама женщина – подсчитала, что в 1983 г. была опубликована 231 книга и статья по истории женщин XVIII в. в Британии, но только 10 книг по истории войн (Colley, 1986, p.361). По всей видимости, баланс здесь несколько нарушен.

III. БУДУЩЕЕ

Представленный мной пространный анализ того, что я считаю ошибочным в развитии некоторых модных ныне течений в исторических исследованиях, вовсе не означает, что я мрачно смотрю на перспективы нашей профессии. Напротив, под пеной модных течений ведется серьезная работа колоссального объема. Если определенные направления исследований будут развиваться, то можно смотреть в будущее с умеренным оптимизмом. Историки – не пророки: никто не знает, что уготовило нам будущее, но мы все вольны порассуждать о путях развития исторических исследований в следующие двадцать лет и более.

Во-первых, нам безусловно *не* следует делать некоторых вещей: например, не собирать факты, не имея предварительной гипотезы. Как сказал Стефен Джей Гулд о науке: "Новые факты, собранные старыми методами, редко приводят к коренному пересмотру концепции. Факты не говорят сами за себя: их прочитывают в свете теории" (Gould, 1977, p.161)². Не слушайте тех, кто уговаривает вас писать историю наобум, поскольку тогда значительный объем материала пропадает втуне. Не слушайте тех, кто уговаривает вас отказаться от понятий, неизвестных современникам: без абстрактных неологизмов, вроде "феодализм" и "капитализм", мы не можем осмыслить прошлое. Не слушайте тех, кто утверждает, что в силу своего призвания историк обязан занять позицию морального нейтралитета, одинаково равнодушного как к свободе, так и к тирании и осторожно обходящего нравственные оценки. Около столетия назад Дройзен с презрением говорил о тех, кто ратовал за "объективность евнуха". Он твердо верил, что историки не должны трубить о своей личной точке зрения, но он призывал их признать, что "быть человеком значит быть пристрастным" (см. Gilbert, 1983, p.332–333).

Не слушайте тех, кто будет побуждать вас разрушить мост между философами и эрудитами, моралистами и исследователями, впервые возведенный Эдвардом Гиббоном в XVIII в. Не слушайте тех, кто будет заставлять вас надеть на историю смирительную рубашку жесткого детерминизма, будь то вульгарно-марксистского, структурно-функционалистского или радикально-феминистского фасона. Не слушайте тех, кто будет говорить вам, что ваш труд – просто артефакт вашего собственного сознания и, таким образом, неотличим от сказки. Ваш труд – действительно артефакт, мыслительная конструкция, но его компоненты серьезно отличаются от художественного вымысла. И не слушайте тех, кто будет вас уверять, что у историка нет обязанности попытаться все объяснить.

Нам следует также дать отпор, насколько это возможно, "разгораживанию" комплексного предмета истории на историю экономики, историю религии, историю культуры, историю женщин и т.д. На протяжении многих веков половина человечества, а именно женщины, была практически исключена из серьезных трудов по истории. Это было одновременно позорно и глупо, и создание специальной отрасли исследований по истории женщин, что особенно характерно для Америки, вполне оправданно. Ситуация была исправлена не зря: мы сделали огромный шаг вперед в понимании роли женщин в истории. Однако в конце концов изучение истории женщин без мужчин окажется, вероятно, столь же неадекватным, как изучение истории мужчин без женщин.

Более же всего мы должны избегать двух вещей. Во-первых, мы должны держаться подальше от узкой специализации и мелкотемья, в качестве примера которых мой покойный друг сэр Морис Боура обычно приводил проблему "Вязания в женских монастырях южного Лин-

² Сэр Питер Мэдауор утверждал, что все достижения в научном понимании проблемы начинаются с "воображаемого представления о том, что может быть истиной" (Medawar, 1982).

кольнира в период между 1351 и 1364 гг.". Во-вторых, мы должны избегать того, что другой мой друг, Джек Гекстер, называет "тоннельной историей", – разновидности зашоренности в исторических исследованиях, сосредоточенных исключительно на одном-единственном аспекте многосторонней проблемы. В исторических исследованиях очень неразумно доверять монокаузальным объяснениям. Мы должны напрочь отвергнуть релятивизм в отношении к проблеме истины; однако придерживайтесь широких взглядов в поиске этого вечно ускользающего приза. Только в таком случае мы имеем наилучшие шансы как понять прошлое, так и максимально преодолеть разрыв между так называемыми двумя культурами.

Независимо от принятого способа изложения, аналитического или повествовательного, принципиально важно вернуться к тому, что до недавнего времени считалось хорошим историческим изложением, а именно: к ясности языка и мысли. Их сейчас явно недооценивают в культурной среде, в которой похвала и немислимые гонорары достаются только невразумительно изъясняющимся гуру. Непроходимые дебри прозы стали делом чести. Как язвительно писал один американский обозреватель, "писать простым, ясным и доступным пониманию языком значит потерять лицо. Поддержать марку можно, только если добавить что-нибудь свое в озеро жаргона, воды которого (бутылированные на экспорт в Соединенные Штаты) разливаются между Нанттерром и Сорбонной и к чьим топким берегам каждую ночь приходят на водопой блеющие стада постструктуралистов". Джордж Оруэлл уже давно хорошо сформулировал основное возражение, помимо чисто эстетического, против небрежного письма и неудобоваримого языка прозы: "Если вы упростите свой английский, то сможете освободиться от самых больших глупостей ортодоксии... Когда вы сделаете глупое замечание, его глупость станет очевидной даже вам самим". У скептически настроенного читателя невнятные новые термины вызывают подозрение в том, что дымовую завесу жаргона опускают, чтобы скрыть отсутствие сколь-нибудь серьезного содержания.

Мы, историки, оказываемся сегодня в уникальной ситуации: мы окружены носителями двух новых языков, которых многие из нас просто не понимают: во-первых, бездушными, математическими и алгебраическими формулами клиометриков; во-вторых, сбивающим с толку жаргоном критической теории и постмодернизма.

Если обратиться к конкретным предложениям на будущее, то мне кажется, есть свидетельства того, что все те тенденции, развитие которых я бы хотел увидеть, уже набирают силу. В последнее десятилетие появились первоклассные работы в тех направлениях, которые я собираюсь предложить. Вместе с тем столь же первоклассные работы делаются и в таких более традиционных областях, как история политической мысли, науки, религии, права, а также в новых областях истории пола и преступности. У Америки хорошие предпосылки для лидерства, поскольку она обладает уже полудюжиной, если не более, крупнейших университетских исследовательских центров и библиотек в мире. Таким образом, в Америке историческая наука институционально сосредоточена, в отличие от Парижа, где все таланты собраны в одном месте. К тому же многие из этих элитных учреждений в Америке пе-

режили финансовые бури 90-х годов гораздо легче, чем их европейские соперники.

Главная и великая задача, которую предстоит решить историкам в предстоящее десятилетие, состоит в том, чтобы представить более убедительные объяснения исторических изменений во времени. Ее можно выполнить при двух условиях. Во-первых, необходимо увязать социальную и экономическую историю с историей культуры. И народная культура и высокая культура до сих пор изучались и изучаются до тонкостей, но, как правило, в отрыве друг от друга и от других факторов. Однако, как отметил Питер Берк, история культуры ныне обрела вторую жизнь, сместив фокус внимания с социальной истории культуры на культурологическую историю общества. Ободренные провалившимся празднованием в 1992 г. первого контакта Европы с обеими Америками, историки культуры ныне заняты изучением других примеров столкновений культур, зачастую рассматривая их с точки зрения как завоеванных, так и завоевателей. Следующее необходимое условие выполнения нашей основной задачи заключается в том, чтобы в социальную историю и историю культуры, в анализ глубинных структур внести исследование бедствий войны, превратностей политической власти и высокой политики – установить между ними связь, которую совершенно не замечали вот уже на протяжении двух поколений. В конце концов сам Марк Блок однажды возразил против ее отсутствия: "Можно было бы многое сказать о слове «политический». Зачем обязательно делать из него синоним поверхностного?" (цит. по: Ле Гофф, 1994, с.171–172). Решение вопроса состоит в том, чтобы рассматривать сферу политики как арену социальных, культурных и экономических конфликтов.

К счастью, начало уже положено, и этими сюжетами занимаются историки многих стран. На память приходит недавно вышедшая книга моего коллеги Шона Виленца, в которой он пытается навести такие мосты в исследовании истории рабочего класса Нью-Йорка XIX в.; или работа Джона Брюера об Англии XVIII в.; или труд Пьера Губера и Даниэля Роша о Франции XVIII в., или Инги Клендиннен об ацтеках.

В-третьих, религии необходимо вернуть статус основной независимой переменной исторических изменений, что особенно важно для периода новой истории, когда Запад переживал время столь сильных религиозных страстей и ненависти, что Европу разрывало на части.

Немаловажно также отвести какое-то место в системах объяснения и просто случаю, и роли выдающейся личности, которые были свалены на обочину исследований во время поисков псевдонаучных законов истории. Прекрасный пример возобновившегося интереса к личности и случаю – недавно опубликованная книга Дж.Г.Эллиотта "Ришелье и Оливар" (Elliot, 1984). Подобную задачу можно выполнить, занимаясь исследованиями на общем материале, местном материале и даже материале микрокосма, однако только с ясно поставленной целью объяснить изменения. Сравнительный метод особенно подходит для изучения довольно обособленных островков культуры, вроде Испании или Англии. Только с помощью сравнительного метода можно установить, что же на самом деле их отличает от других стран Европы того же периода, а что у них общего с ними. Этот способ исторического исследо-

вания рискован, труден и практически не применяется, однако потенциально он очень плодотворен.

Помимо изучения изменений во времени, второй основной задачей историка должна быть его работа в качестве историка-этнографа, исследователя микроистории отдельного человека или нескольких человек или местечка, чтобы сначала вернуть момент прошлого к жизни, а затем проанализировать, дать ему толкование и объяснить его. Я думаю, например, о книге Ле Руа Ладюри "Монтайлу: обетованная земля ошибок" (Le Roy Ladurie, 1978), о книге "Сыр и черви" Карло Гинзбурга (Ginzburg, 1980) или работе "Возвращение Мартина Герра" Натали Дэвис (Davis, 1983). Объяснение включает реконструкцию политики, общества, экономики, обычаев, законов, морали и культуры прошлого, поскольку они воздействовали на образ мыслей группы или личности. Существует много способов восстановить и вернуть к жизни прошлое, если автор не переступает грань, отделяющую показательный пример от анекдотического пустяка. Однако так или иначе живых людей во всей их противоречивой сложности нужно вернуть истории, из которой их практически вытеснили вульгарный марксизм, структурализм и количественные методы.

Наконец, мы можем и должны вернуться к великим нерешенным вопросам об эволюции современной цивилизации, впервые поставленным Марксом и Максом Вебером, затем историками-вигами, а совсем недавно – американскими теоретиками модернизации. Чтобы ответить на эти вопросы, историки должны прекратить разбиваться на все более мелкие группы, каждая со своим специализированным журналом и собраниями только для посвященных, а должны вместо этого приложить сознательные усилия для преодоления искусственно возведенных барьеров. Если мы не сможем одолеть раздробленность, то мы все обречены на углубляющуюся специализацию, а значит, и на мелкотемье, что и произошло полвека назад с нашими предшественниками, занимавшимися политической историей. В этом случае мы подвергнемся смертельной опасности разговора с самими собой на темы, которые никого больше, кроме нас самих, не интересуют.

Что касается содержания исследований, то один из огромных пробелов в историографии любой западной страны, который только сейчас начинают восполнять, – это средний класс, среднее звено, буржуазия. Как представляется, случилось так, что элита, особенно земельная аристократия, которая до недавних пор удерживала огромную власть, престиж и богатство в любом обществе, патронировала искусство, была высоко образована и оставила о себе массу письменных документов, всегда была в центре внимания историков. В последние тридцать лет порыв к изучению истории "снизу" привел к тому, что были обнародованы кипы новых данных о крестьянах, городском пролетариате и бедноте, в то время как порыв к изучению истории женщин породил массу новой информации о женщинах. Однако хотя средние классы еще со времен Аристотеля заслужили всеобщее признание в качестве "вместилища всех добродетелей" и великого подвижника экономических и социальных изменений, ими до недавних пор относительно пренебрегали. Вторая тема, не получившая должного внимания, на что

справедливо указал Питер Берк, – это параметры, границы и последствия конфликта культур и культурного обмена.

Черпая из других дисциплин, что совершенно правомерно, мы должны занять очень гибкую и благоразумную позицию: поощрять готовность использовать любые данные, применять любой метод, любую модель и прикладывать ухо к земле, чтобы еще издали услышать приближение чего-то нового из смежной дисциплины.

Если мы будем следовать в предложенном мной направлении и развивать те тенденции, которые уже обнаружились, то мы, историки, сможем лучше выполнить нашу двойную задачу – ту же самую, что провозгласили и выполняли более двух тысяч лет назад Фукидид и Геродот. Во-первых, разрабатывать более тонкие и убедительные объяснения того, как мы пришли от прошлого к настоящему (оттуда сюда), причем объяснения многими причинами, а не одной. Во-вторых, нам нужно восстановить ощущение духа, почувствовать плоть жизни наших предшественников в утраченную нами традиционную эпоху. Мы каким-то образом должны проникнуть в их головы, чтобы понять и объяснить их системы верований и способы мышления. Если мы преуспеем в достижении поставленных нами целей, то мы сможем уверенно утверждать, что наша деятельность и наше существование оказывают значительное влияние на культурную жизнь общества, в котором мы живем. Однако только продемонстрировав политикам и общественности, что нам есть что сказать важного, интересного и полезного, мы, профессиональные историки, сможем добиться процветания в обществе, все более обращающемся к технике за рецептами быстрого решения своих проблем, и к мифотворцам, левым или правым, за уверенностью и надеждой.

ЛИТЕРАТУРА

- Маркс К.** Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. В: К.Маркс. и Ф.Энгельс. Сочинения. 2-е изд. М., 1957, т.8.
- Бродель Ф.** Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Пер. с фр. М.: Прогресс, 1986–1992 [1979].
- Лебон Г.** Психология народов и масс. СПб., 1896.
- Ле Гофф Ж.** Является ли все же политическая история стеновым хребтом истории? // THESIS, 1994, т.2, вып.4.
- Appleby J.** One Good Turn Deserves Another: Moting Beyond the Linguistic: A Response to David Harlan // *American Historical Review*, 1989, v.94, no.5.
- Bolingbroke H.S.J.** Historical Writings. Ed. by I.Kramnick. Chicago, 1972.
- Braudel F.** La Méditerranée et le monde Méditerranéen a l'époque de Philippe II. Paris, 1949.
- Butterfield H.** The Englishman and his History. Cambridge, 1944.
- Butterfield H.** The Origins of Modern Science: 1300–1800. London, 1949.
- Butterfield H.** The Whig Interpretation of History. New York, 1965.
- Butterfield H.** Writings on Christianity and History. Ed. by C.T.McIntyre. Oxford, 1979.
- Chartier R.** Texts, Symbols and Frenchness // *Journal of Modern History*, 1985, v.57.
- Colley L.** The Politics of Eighteenth Century British History // *Journal of British Studies*, 1986, v.25, no.4.

- Culler J.** On Deconstruction: Theory and Criticism After Structuralism. New York, 1984.
- Darnton R.** The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultral History. New York, 1984.
- Davis N.** The Return of Martin Guerre. London, 1983.
- Easthope A.** Romancing the Stone: History Writing and Rhetoric // Social History, 1993, v.18, no.2.
- Elliot J.H.** Richelieu and Olivares. Cambridge, 1984.
- Elton G.R.** The History of England. Cambridge, 1984.
- Ferguson W.K.** The Renaissance in Historical Thought. Boston, 1948.
- Fish S.** The New Historicism. New York, 1989.
- Fogel R.W. and Engerman S.L.** Time on the Cross: The Economics of American Negro Slavery. Boston: Little Brown, 1974.
- Gilbert F.** The New Edition of Johann Gustav Droysen's "Historik" // Journal of the History of Ideas, 1983, v.44.
- Ginzburg C.** The Cheese and Worms. Baltimore; London, 1980.
- Gould S.J.** Ever Since Darwin: Reflections in Natural History. New York, 1977.
- Keuls E.C.** The Reign of the Phallus: Sexual Politics in Ancient Athens. New York, 1980.
- Lamont M.** How to Become a Prominent French Philosopher: The Case of Jacques Derrida // American Journal of Sociology, 1987, v.93.
- Le Goff J. et Nora P.** (eds.) Faire de l'histoire. 3t. Paris, 1974.
- Le Roy Ladurie.** Montaillou: The Promised Land of Error. New York, 1978.
- Locke J.** Political Writings. Ed. by D.Wooton. London, 1993.
- McCloskey D.** The Rhetoric of Economics // Journal of Economic Literature, 1983, v.21.
- Medawar P.** Plato's Republic. Oxford, 1982.
- Morrill J.** Proceeding Moderately // Times Literary Supplement, 1980, 24 October. New York Times, 1992, October 21. New York Times Magazine, 1993, May 4.
- Rosenberg C.** Medicine and Community in Victorian Britain // Journal of Interdisciplinary History, 1981, v.11.
- Schama S.** Citizens. New York, 1989.
- Smith D.S.** The Troubled Issue of Agency in History: British Historical Demography Since 1750 // Journal of British Studies, 1987, v.26.
- Trevelyan G.M.** English Social History. London, 1944.
- Vigarelo G.** Concepts of Cleanliness: Changing Attitudes in France since the Middle Ages. Cambridge, 1988.
- Zeldin T.** Personal History and the History of the Emotions // Journal of Social History, 1982, v.15.